

УЛЬЯНА СОБОЛЕВА

РАЗВОД

СЫНА ТЫ
НЕ ПОЛУЧИШЬ

Подлец!

СОВРЕМЕННЫЙ ЛЮБОВНОЙ РОМАН

Ульяна Соболева

Оазвод. Сына ты не получишь, подлец!

<https://litres.ru/74424249>

SelfPub; 2026

Аннотация

— Мы разводимся, — сказал он. — Я женюсь на Лене!

Без пафоса. Без эмоции. Без тени сомнения в голосе. Словно произнёс это между делом, будто обсуждал прогноз погоды на завтра или цену на бензин. Как будто этим не рушил мир, не опрокидывал мои опоры, не вырывал сердце с корнями.

— Честно? — выдохнула я, и голос дрожал, как струна перед разрывом. — После всего, что мы прожили? После пятнадцати лет? После того, как я делала вид, что не замечаю? После тех ночей, когда ты не приходил домой до трёх утра, а я лежала и слушала, как тикают часы, и гладила тебе рубашки, и надеялась, что, может, ты просто устал на работе? После того, как я молчала про твои опоздания, про забытые дни рождения детей, про то, что ты уже полгода не спрашиваешь, как дела? После того, как я терпела твоё раздражение, когда Алёшка болел, а Софья плакала из-за очередной двойки? После того, как я одна водила детей к врачам, на родительские собрания, покупала им одежду и развивающие игрушки?

Содержание

Аннотация:	5
Глава 1	7
Глава 2	13
Конец ознакомительного фрагмента.	24

Ульяна Соболева
Оазвод. Сына ты не
получишь, подлец!

РАЗВОД. СЫНА ТЫ НЕ ПОЛУЧИШЬ, ПОДЛЕЦ!

Ульяна Соболева

Аннотация:

— Мы разводимся, — сказал он. — Я женюсь на Лене!

Без пафоса. Без эмоции. Без тени сомнения в голосе. Словно произнёс это между делом, будто обсуждал прогноз погоды на завтра или цену на бензин. Как будто этим не рушил мир, не опрокидывал мои опоры, не вырывал сердце с корнями. Просто — мы. Просто — разводимся.

— Честно? — выдохнула я, и голос дрожал, как струна перед разрывом. — После всего, что мы прожили? После пятнадцати лет? После того, как я делала вид, что не замечаю? После тех ночей, когда ты не приходил домой до трёх утра, а я лежала и слушала, как тикают часы, и гладила тебе рубашки, и надеялась, что, может, ты просто устал на работе? После того, как я молчала про твои опоздания, про забытые дни рождения детей, про то, что ты уже полгода не спрашиваешь, как дела? После того, как я терпела твоё раздражение, когда Алёшка болел, а Софья плакала из-за очередной двойки? После того, как я одна водила детей к врачам, на родительские собрания, покупала им одежду и развивающие игрушки?

— Рита, не устраивай сцену, — сказал он устало. — Ты же умная женщина. Ты сама видишь, что между нами ничего не осталось. Притом ты сама сказала, что это конец. Я подумал и решил, что это реально конец.

Ничего не осталось. А дети? А дом? А те фотографии на холодильнике, где мы улыбаемся на фоне моря? А общие друзья, родственники, планы на будущее? Это всё — ничего?

— Я подаю документы на развод, — продолжил он деловито, как будто читал сводку новостей. — И подаю на опеку. Сына оставим со мной и Леной. А Софью — с тобой. Так будет правильно.

Глава 1

Я знала — но надеялась, что ошибаюсь.

Интуиция была тревогу изнутри, как мышшь, запертая в банке: когтями по стеклу, визгом — по нервам. Не сразу, нет. Измена не приходит торжественным маршем с трубами и знамёнами. Она подкрадывается на цыпочках, крадёт по мелочи — сначала взгляд, потом слово, потом прикосновение.

Сначала — мелочи, в которых любая другая промолчала бы. Отстранённый взгляд, скользящий мимо, как по чужой. Механический поцелуй в висок вместо привычного «Как ты, любимая?» — поцелуй-галочка, поцелуй-отметка в списке дел между «почистить зубы» и «выключить свет». Отголосок духов на его воротнике, не моих, чужих, приторно-сладких, как дешёвое вино после школьного выпускного. Аромат, который врезался в память и оставался там, терзая, как занозы под ногтями.

Я нюхала его рубашки, когда он был в душе. Проверяла карманы, будто случайно. Пересчитывала кондомы в тумбочке — те самые, которыми мы давно не пользовались после второго ребёнка. Чувствовала себя собакой, обнюхивающей территорию в поисках чужого запаха.

Потом — пустоты. Промежутки между сообщениями,

между звонками, между «задержусь на работе» и «у нас совещание». Молчание, которое раньше было уютным, теперь звенело, как натянутая струна. И «вайбер» у него сломался. Вайбер, Карл! В двадцать первом веке. У депутата. У человека, который живёт в телефоне, как улитка в раковине. У того, кто всегда на связи, всегда важен, всегда нужен всем — кроме меня.

— Обновления слетели, — говорил он, не поднимая глаз от тарелки. — IT-шники разбираются.

IT-шники. Как будто мессенджер — это космический корабль, а не приложение, которое переустанавливается за две минуты.

Я чувствовала — каждой клеткой, каждой жилкой, каждой до боли родной родинкой, которую он когда-то целовал, называя «маленькой вселенной». Мои родинки помнили его губы лучше, чем я — его последние искренние слова. Но продолжала жить, как будто не знала. Как будто глупая. Наивная. Удобная.

Потому что у нас дети — Максим с его вечными «почему небо голубое» и Софья с её принцессами и слезами из-за неправильно заплетенной косы. Потому что у нас ипотека на двадцать лет, счёт за школу, который приходит каждый месяц, как напоминание о том, что мы — семья. Семейные альбомы с нашими улыбками, которые теперь казались мне картонными декорациями. Общая фамилия на почтовом ящике. Свекровь Галина Петровна, у которой астма, мнение на

любую тему и привычка звонить в семь утра с вопросом «А что вы сегодня едите?»»

Потому что не хотелось рушить. Потому что верила, что если мы всё это строили пятнадцать лет — кирпичик за кирпичиком, ссора за примирением, рождение за бессонной ночью — значит, мы не мусор. Значит, нас нельзя выкинуть в одно утро вместе с объедками и пустой банкой из-под кофе.

Пятнадцать лет. Пятнадцать лет я вставала первой, чтобы сварить ему кофе именно так, как он любит — крепкий, без сахара, с каплей молока. Пятнадцать лет я помнила, что он не переносит лук в салате и что у него аллергия на пыльцу тополя. Пятнадцать лет я была его тылом, его пристанью, его «конечно, дорогой, как скажешь».

— Ты с ума сошла, Рит, — улыбался он, криво, с отвращающим спокойствием, которым обычно укрощают пьяных в маршрутке или успокаивают истеричных женщин в очереди к врачу. — Это Лена. Новенькая. Просто подвозил. Что ты начинаешь?

Лена. Имя прозвучало слишком легко, слишком привычно. Не «коллега» или «сотрудница», а именно Лена — с мягкой интонацией, с едва заметной улыбкой в уголках рта. Лена — это та, что всегда рядом, но не мешает. Та, что скажет «ой» и поправит лифчик, не забывая при этом томно вздохнуть. Та, что не задаёт вопросов про ипотеку, детские сопли и то, почему ты опять не вынес мусор. Та, которая смотрит на тебя, как на героя, а не как на человека, который забыл

купить хлеб уже третий день подряд.

— А почему она не берёт такси? — спросила я тихо, изо всех сил стараясь, чтобы голос не дрожал. — Или автобус? Или...

— Рита, не будь занудой. Мы же коллеги.

Коллеги. А я что? Домохозяйка? Нет, постойте, я же тоже работаю — веду отчётность в его же офисе, разбираюсь с налогами, которые он забывает подать. Но я — не коллега. Я — жена. А жёны, видимо, в такси ездят сами.

Я молчала. Я глотала слова, которые рвались наружу, как осколки. Я сжимала зубы так, что начинала болеть челюсть, а во рту появлялся привкус крови. Кивала, как китайский болванчик на заднем стекле машины. Стирала носки — его носки, в которых он ходил к ней. Гладила рубашки — те самые, которые она, возможно, помогала ему снимать. Стряпала борщи, которые он ел, думая о ней. Писала отчёты, высчитывала проценты, звонила клиентам.

Я была как автомат, запрограммированный на «держатъ семью». Вставала, варила, стирала, убирала, укладывала детей, контролировала уроки, покупала продукты, оплачивала счета, улыбалась. Функционировала. Потому что когда-то, очень давно, в другой жизни, он говорил, что я его спасение. Что я та, с кем не страшно. Что «никогда не предам».

Никогда не предам. Эти слова он произнёс тогда, двадцать лет назад, когда мы ещё студенты лежали на траве в парке, а я рассказывала ему про отца, который ушёл от мамы к мо-

лоденькой секретарше. «Я никогда так не сделаю, — шептал он мне в волосы. — Я же не урод какой-то».

Не урод. Просто мужчина. Просто человек, которому надоело одно и то же лицо на подушке рядом. Надоели мои вопросы про деньги, про детей, про то, когда он наконец починит кран на кухне. Надоела жена, которая знает, что у него геморрой и что он храпит, когда спит на левом боку.

А потом — перестал говорить. Перестал смотреть. Перестал быть. Он стал тенью самого себя в нашем доме, призраком, который ест, спит и изредка бормочет что-то про работу. Исчез не сразу — по частям, как человек, которого медленно стирают ластиком. Сначала исчез его смех. Потом — интерес к моим рассказам. Потом — прикосновения. В конце концов исчез он сам, оставив только функцию «муж и отец» на автомате.

Дети этого не замечали — они привыкли, что папа важный и занятой. Но я видела. Я чувствовала каждую пропущенную интонацию, каждый незаданный вопрос, каждый поцелуй, который стал обязанностью.

И всё же я надеялась. На дурацкое, женское чудо. На то, что он проснётся и вспомнит, кто я. На то, что Лена ему надоест, как надоедают все новые игрушки. На то, что мы — это всё-таки что-то большее, чем привычка и общий кредит.

Может, я просто устаю. Может, весна влияет — всем же трудно в межсезонье. Может, ветрянка у Максима и двойка у Софьи по математике мешают мне трезво смотреть на вещи.

Может, я просто мнительная, как говорит свекровь. «Ритуля, ты всегда себе что-то придумываешь. Мужчины не такие сложные, как вам кажется».

Потому что легче поверить в свою неврастению, чем в то, что тебя — **предали**. Бесславно. Молча. Между страницами жизни, как закладку, которую забыли вынуть из старой книги.

Предали не вчера и не позавчера. Предавали по капле — каждым равнодушным «угу» вместо ответа, каждым «сейчас не до этого» на мои попытки поговорить, каждым вечером, когда он приходил домой уставшим ровно настолько, чтобы не заниматься любовью, но недостаточно уставшим, чтобы не листать телефон до двух ночи.

Я не была душой. Я просто слишком любила. Любила так, как умеют только женщины — всей собой, до самозабвения, до растворения. Любила его больше, чем себя. И он это знал. И пользовался этим, как бесплатным интернетом — само собой разумеющимся, пока не отключат.

А я всё ждала. Что он вернётся. Что вспомнит. Что скажет: «Прости, я был дураком».

Но люди не возвращаются. Они просто уходят по-тихому, оставляя после себя пустые тюбики зубной пасты и привычку готовить ужин на одного лишнего.

Глава 2

Я вернулась домой пораньше. Не потому что хотела — потому что душа не на месте.

С утра лил мерзкий дождь, тот самый, осенний, с игольчатой сыростью, от которой кости стынут изнутри, а сердце сжимается в жгут тревоги. Вода стекала с крыш грязными ручьями, барабанила по лужам, превращала город в размытую акварель. Воздух был тяжел, будто пропитан дурным предчувствием — таким плотным, что его можно было резать ножом. Даже собаки жались к подъездам, а редкие прохожие спешили, нахохлившись, словно чувствовали: сегодня что-то случится.

На работе я не могла сосредоточиться. Цифры в отчётах расплывались, строчки съезжали, а в голове крутилась одна мысль: «Надо домой». Не хотелось — тянуло. Как зубную боль, которую невозможно игнорировать. В обеденный перерыв я придумала себе головную боль и попросилась уйти пораньше.

Я шла быстро, почти бегом, обняв руками пакет с хлебом, фаршем для котлет (он любил именно с рисом), молоком для детского завтрака и надеждой, что всё — надумано. Что я просто устаю. Что осень действует на психику. Что всё ещё можно склеить, замазать, сделать вид, что трещина — это просто игра света. Я верила. Отчаянно, по-дурацки. Послед-

ний раз.

Дождь усиливался. Капли били по лицу, как мелкие пощёчины, смешивались с тем, что могло быть слезами, а могло и не быть. Я тащила тяжёлые пакеты и думала, что сегодня приготовлю его любимый ужин. Котлеты с рисом, салат из свежих огурцов, который он всегда просил делать без лука. Подарю ему свою лучшую улыбку и скажу что-то лёгкое про погоду. И он вспомнит, что я — хорошая. Что я стараюсь. Что меня жалко терять.

Наш дом встретил меня тёплыми окнами. Во втором этаже горел свет — в нашей спальне. Странно. Обычно днём мы там не бываем. Я поднялась по ступенькам, разгребая в сумке ключи. Металл был холодный, мокрый от дождя. Руки дрожали — от холода или от чего-то ещё.

Ключ с привычным щелчком повернулся в замке, и я вошла в дом, полный света и... смеха. Не моего. Не детского — дети в школе до четырёх. Женского. Весёлого, звонкого, как ложка о фарфор — и такого же фальшивого. Звук ударил по ушам, как колокол. Я замерла в прихожей, не снимая мокрого плаща. Сердце провалилось вниз, в живот, и забилось где-то там, под ложечкой, в тошнотворной пульсации ужаса.

Пакеты выскользнули из рук и с шуршанием упали на пол. Хлеб покатился под вешалку. Но я не наклонилась поднять. Не могла. Ноги будто приросли к половичку с надписью «Добро пожаловать домой» — иронично до тошноты.

Смех доносился из гостиной. Оттуда же — голос мужа,

но не тот, который я знала. Мягкий, довольный, игривый. Голос, которым он когда-то говорил со мной. Года три назад. Или четыре. Я не помнила.

Я сняла туфли — автоматически, по привычке. Мокрые следы от колготок остались на паркете. Прошла через коридор на цыпочках, как воровка в собственном доме. Каждый шаг отдавался в висках. В горле пересохло.

И тогда я их увидела.

Она сидела у нас. На моём любимом пуфике, который мы покупали пять лет назад в ИКЕА, споря полчаса — брать синий или серый. В моей ночной рубашке — той самой, шёлковой, с кружевной отделкой, которую я гладила прошлой ночью, думая, что вечером мы посмотрим фильм, как раньше. Как в старые добрые времена, когда он ещё клал руку мне на плечо и спрашивал: «Что будем смотреть, любимая?»

Тонкая, блондинистая, лет двадцати пяти, не больше. С нарисованными стрелками на глазах и вывернутыми губами, которыми она, видимо, только что целовала моего мужа. Губы были глупо пухлые, чужие, вызывающе красные — и такие уверенные, как будто она здесь живёт. Как будто я — гость в собственном доме. На её шее красовался засос — свежий, фиолетовый, как орден за заслуги.

Моя рубашка была расстёгнута. Мой пуфик смят. На журнальном столике стояли две чашки — из нашего свадебного сервиза, того самого, который мы получили в подарок от свекрови и который я мыла только по праздникам.

Он стоял рядом с ней. Мой муж. Отец моих детей. Человек, который полчаса назад целовал меня в лоб на прощание и говорил: «Увидимся вечером, дорогая». С застёгнутым наполовину ремнём и с рубашкой навывпуск. С тем самым видом, когда человек понял, что его поймали, но стыда в нём нет — только неловкость, смешанная с раздражением. Раздражением! Как будто это я что-то не так делаю.

Его взгляд соскользнул мимо моего лица — туда, где висели наши свадебные фотографии. Он даже не удивился моему появлению. Только выдохнул, как человек, которого прервали за важным делом:

— Рита... ты рано.

Не «извини». Не «я могу объяснить». Не «это не то, что ты думаешь». Ты рано. Как будто проблема в том, что я пришла, а не в том, что он привёл её сюда. В наш дом. В нашу постель. В мою рубашку.

А я смотрела. Без крика. Без сцены. Без истерики, которую от меня, наверное, ждали. Я впитывала, запоминала, вгрызалась в этот момент, как зверь. Потому что он — не стереть. Не простить. Не пережить. Не заплакать в подушку и забыть. Это тот момент, который делит жизнь на «до» и «после». Навсегда.

Я увидела, с кем он был всё это время, когда говорил «совещание», «задержусь», «подвозил». Я увидела, во что превратилась наша жизнь. Точнее — в кого он её променял. На эту девочку с накрашенными губами и смешком, которая си-

дит в моей рубашке и пьёт кофе из моих чашек.

Ей было лет двадцать пять. Ровно столько, сколько мне было, когда мы поженились. Когда он говорил, что я самая красивая, самая умная, что с каждым годом люблю её всё больше. Когда мы мечтали о детях, о доме, о том, как состаримся вместе. Теперь он нашёл новую двадцатипятилетнюю. Свежую. Без растяжек после родов, без усталости в глазах, без знания того, что он храпит и забывает выносить мусор.

— Ой... — сказала она, и голос был тонкий, как проволока, с лёгким придыханием. — Я думала, вы сегодня допоздна работаете...

Вы. Она знала про меня. Знала, что у него есть жена, дети, дом. И всё равно сидела здесь, в моей ночной рубашке, и пила кофе из моих чашек. Это не была случайность, не мимолётная слабость. Это было предательство со знанием дела.

Я подняла на неё глаза. Медленно. Спокойно. Во мне не было ярости — пока. Была только пустота и странная ясность.

— Я и правда поздно, — ответила я тихо. — Поздно поняла, с кем живу.

Моя голос звучал чужим — слишком спокойно для того, что происходило. Слишком ровно. Я сама себя удивила.

Он дёрнулся, будто хотел что-то сказать. Оправдаться. Объяснить. Но что тут объяснишь? Что это не то, что кажется? Что они просто обсуждали рабочие вопросы в постели, в моей рубашке?

И в этот момент пальцы разжались сами собой. Пакет с молоком выскользнул из рук, которые я даже не помнила, что держу, ударился о плитку — и всё полетело. Стеклянная бутылка разбилась с оглушительным звоном, молоко хлынуло по полу белой пеной, как кровь иллюзий, и смешалось с грязью от моих мокрых ботинок.

Осколки разлетелись по всей прихожей, заискрились на свету. Молоко растекалось лужей, белой и густой, как слёзы, которые я пока не плакала. Несколько капель долетели до порога гостиной, где они сидели.

Она взвизгнула и поджала ноги.

— Чёрт, — выругался он и наконец зашевелился. — Рита, ты что творишь?

Что я творю? Я стою в собственном доме и смотрю, как муж изменяет мне. Это я что-то творю?

Я не закричала. Не заплакала. Не кинулась на них с кулаками, как героини мелодрам. Я просто стояла и смотрела, как молоко растекается по полу. Медленно, неотвратимо, просачиваясь в щели между плитками.

Всё. Всё, что было выстрадано, заслужено, выгорено годами терпения, заботы, недосыпов, больниц, бессонных ночей с температурающими детьми, семейных праздников, которые я готовила одна, годовщин, которые он забывал, криков детей и его храпа рядом, стирки его носков и глажки его рубашек... — всё растеклось в эту белую лужу, окаймлённую острыми осколками.

Пятнадцать лет брака в луже молока на полу прихожей.

Она спрыгнула с пуфика, забегала по комнате, собирая свои вещи.

— Я пойду, — пробормотала она. — Извините. Я не знала...

Она знала. Прекрасно знала. Но играла роль невинной овечки, которая случайно забрела в чужой дом.

— Ночнушку моюними...Не жмет, не?

Скрылась за дверью ванной комнаты.

А Он смотрел на меня, ожидая реакции. Ждал крика, слёз, сцены ревности. Ждал, что я упаду на колени и буду умолять его не бросать семью. Или наброшусь на неё с когтями.

Но я молчала. И это его пугало больше любой истерики.

А потом я поняла: мне некуда отступать. Это — точка. Это конец истории под названием «Мы». Но из конца всегда можно сделать начало. Особенно если ты — женщина, которую предали в купленной ею рубашке, в её собственном доме, в её собственной жизни.

Я стояла среди осколков и молока и чувствовала, как что-то во мне ломается. Не сердце — то сломалось давно, по кускам. Ломался страх. Страх остаться одной. Страх начинать заново. Страх того, что скажут люди.

Но вместе со страхом ломалась и клетка, в которой я сидела последние годы. Клетка под названием «удобная жена».

Теперь я была свободна. Свободна от необходимости закрывать глаза. Свободна от необходимости верить лжи. Сво-

бодна от необходимости быть благодарной за крохи внимания.

Я посмотрела на мужа в последний раз. Долго. Запоминающая. Когда-то этот человек был центром моей вселенной. Теперь он казался мне чужим — как случайный прохожий на улице.

— Убери за собой, — сказала я спокойно, кивнув на лужу молока. — И вымой чашки. Не хочу, чтобы дети увидели.

Он пришёл ко мне позже. Через час. Или два. Время стало резиновым, тянущимся, как карамель.

Когда тишина в квартире уже начала звенеть, как натянутая струна, и каждое её колебание било в грудную клетку, отдавалось в висках пульсацией крови. Она ушла. Эта Лена. Умчалась на такси, прижимая к груди свою сумочку и бормоча что-то про «недоразумение». Оставила после себя запах дешёвых духов и помады на краю моей чашки.

Дети всё ещё были в школе — у Максима кружок робототехники до пяти, у Софьи — танцы до шести. Я благодарила Бога за эти кружки, за то, что они не увидели. Не услышали. Не стали свидетелями того, как рушится их мир.

Я стояла в ванной, лицом к зеркалу, с руками, сжатыми в кулаки, чтобы не дрожать, чтобы не разбиться на мелкие кусочки, чтобы не закричать так, как кричат женщины в фильмах ужасов. Ногти впивались в ладони, оставляя красные полу-

месяцы. Боль была почти приятной — живой, осязаемой, в отличие от той пустоты, что разрасталась в груди.

Зеркало отражало чужое лицо. Белое, осунувшееся, с тёмными кругами под глазами, которые появились не сегодня. Наверное, я выглядела именно так последние месяцы, просто не замечала. Была слишком занята, чтобы смотреть на себя. Слишком занята тем, чтобы быть удобной.

Я сняла с себя всё — свитер, джинсы, бельё. Стояла голая перед зеркалом и разглядывала это тело, которое родило двоих детей, которое он когда-то называл красивым. Растяжки на животе — память о беременностях. Грудь уже не такая упругая, как в двадцать. Бёдра шире, чем хотелось бы. Обычное тело тридцативосьмилетней женщины, которая больше думала о других, чем о себе.

Может, поэтому он ушёл к той, молодой? Там всё ещё свежее, подтянутое, без следов жизни на коже.

Зачем он пришёл? Для чего? Чтобы добить? Чтобы объяснить? Чтобы попросить прощения и пообещать, что больше не повторится? Или чтобы вытереться и уйти снова — только уже красиво, по-мужски, с якобы честным лицом и словами о том, что «мы просто выросли из этих отношений»?

Я включила воду, горячую, почти обжигающую. Вода смывала запах чужих духов с моей рубашки, которая лежала в корзине для белья. Смывала след её помады с моей чашки. Но не смывала то, что они делали в моей постели.

Он постучал. Осторожно. Неуверенно. Как будто боялся потревожить. Как будто я всё ещё была его женой, а не женщиной, которую он только что предал в её собственном доме.

— Рит, открой, — хрипло. Голос был усталым, надломленным. Без интонации. Словно извинение за преступление, которое он не считает преступлением. Скорее — досадной неловкостью, которую нужно уладить.

Я не обернулась. Не ответила сразу. Только смотрела в своё отражение. Оно было странным, чужим, плоским. Как будто я смотрела не на себя, а на актрису в плохом фильме. В глазах — пустота, которую можно было потрогать руками. В губах — кровь, прикушенная изнутри от усилия не закричать. А на скулах — белая злость, такая острая, что можно было резать воздух.

Я не чувствовала лица. Не чувствовала тела. Только внутренний холод, который разливался по мне, как яд, добираясь до самых отдалённых уголков. Будто я медленно превращалась в ледяную статую.

— Рита, — повторил он настойчивее. — Нам нужно поговорить.

Нужно. Кому нужно? Ему? Чтобы совесть почистить? Чтобы я его поняла и простила? Чтобы сказала: «Ничего, дорогой, бывает, я не держу зла»?

— А тебе не к Лене идти? — голос мой был тихим, ровным, почти ласковым. Но в нём звенел лёд. Я сама его услышала. — Дверь ей открывать?

Пауза. Я слышала, как он переминается с ноги на ногу за дверью. Как шаркает подошвами по паркету, который мы выбрали три года назад, споря о цвете.

Он промолчал на секунду, будто не ожидал такого тона. Наверное, рассчитывал на слёзы, на истерику, на крики. На то, что я буду умолять его остаться. Потом снова, тише:

— Всё не так, как ты думаешь.

О, Господи. Эта фраза. Эта избитая, затаस्कанный, предательская фраза, которой мужчины по всему миру прикрывают свои предательства. Как зонтом от шторма. Как будто есть какой-то правильный способ привести любовницу в постель жены. Как будто есть способ сделать это «не так».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.